



Дизайн автора

## ПО ДОРОГЕ В СОСНОВО

Во всех Вериных историях много общего. Вот директор завода, повадившийся по вечерам в ателье проката, которым она заведует. Взвизгнут тормоза, хлопнет дверца служебной «волги», и он нарочито легкой походкой, веселый и мужественный, разве что чуть усталый, несет свое плотное подтянутое пятидесятипятилетнее тело. Все ладно, добротнo у него — галстук, туфли, брючный ремень, запонки — только корни волос отбежали далеко к затылку. В глазах плещутся ласка и надежда, а с треском распахнутый уверенными пальцами бумажный сверток являет ей бархатное чудо семи тяжелых томных роз.

— Здравствуйте, Верочка!

Вот — гораздо моложе — в пузырящемся на локтях и коленях туристском брезенте и коричневом свитере, пропахшем потом и костром, плохо выбрит, высок, с длинными складными ногами и руками, впалой грудью, в кедах, насмешливый и свой в доску, с бесшабашными голубыми глазами.

— Хотите, я вас украду? Отнесу вас на скалу. Не бойтесь — не устану. Вы будете Лорелей...

Директор, видно, боялся старости, но еще больше — своей жены, которая в ателье в присутствии клиентов устроила ей позорную сцену... Самое-то смешное, что ни Моложавый директор, ни Вечный турист, ни Водитель такси — южный человек со стальной хваткой, но уязвимым носом, расквасившимся под ее крепким кулачком, — никто из них не подозревал, что рассчитывать им, в общем, не на что.

Нет, она не была недотрогой, или верна навек или, там, что было бы смешно, фригидна... Но к тридцати трем годам — возрасту бальзаковских женщин — ей стало все равно. И если она смеялась, запрокидывая голову, кокетничала, натягивая на смуглые оголенные колени свой короткий служебный халатик, то только из чувства неловкости за них, столь откровенных в своей надобе, да из чувства стыда за себя, ради кого, по собственному ее глубокому убеждению, не стоило мужикам хорохориться.

Муж ее работал мастером в хлебопекарне, а когда не работал, — пил. Пить начал давно — только сын родился. Она ненавидела их комнату в коммуналке, все прокурено обои, занавески, мебель, все... Муж придет пьяный, завалится спать, воздух — хоть топор вешай. Утром уйдет — она все вымоет, вычистит, выколоти, проветрит — вечером все опять... Соберутся его дружки — она с сыном на кухню, за кухонный столик, сын домашние уроки делает, она проверяет. А соседи косятся — места мало?

Уже и не помнила, почему замуж вышла... Парень, как парень — белая рубашка, чуб в сторону, гитара. Пел. А она вообще глупой была. Семнадцать лет — еще на диване прыгать любила, как маленькая. В животе такой приятный холодок... Прыгала и смеялась. В маму пошла. Дом далеко — на Алтае. Там горы, леса, ручьи, небо такое синее, какого здесь не бывает. Дом их в зелени, в цветах. Она думала — все такие, как мама, добрые и веселые. И зла нет. И боли нет. Только когда коленку расшибешь. А потом, когда он полез к ней в первую брачную ночь... Гадко, больно, противно. И почему-то это обязательно нужно. Это и есть любовь?

\*\*\*

Было лето, город стоял в дымке жары, и местные — благо залив близко — валили после работы на дикий пляж. Автобус забирал их с кольца загорелыми, по-дачному полуголыми... В тот предвечерний, по-июньскому светлый час она сидела на ступеньках своего открытого ателье. Она тоже успела загореть, коротенькое синее платье-халатик высоко открывало ее смуглые стройные ноги с гладкой, словно отполированной кожей, — выющиеся рыжеватые волосы рассыпаны по плечам — сидела, как в детстве, радуясь солнцу, теплу, этим людям, зелени парка про ту сторону улицы, в коротком забвенье чувствуя себя молодо и беспечно и улыбаясь своим чувствам. А он стоял напротив на тротуаре и смотрел на нее, не скрывая, что любит. Спыхватившись, она приподняла брови: если человек так смотрит, значит, ему что-то нужно.

— Так это вы? — спросил он, показав глазами на вывеску.

Вопрос почему-то задел ее.

— Допустим, — сказала она.

— Прекрасно! — улыбнулся он. У него оказалась совсем мальчишеская, чуть ли не детская улыбка. — Знал бы, давно бы пришел.

— Вам что-то нужно?

Он еще раз внимательно посмотрел на нее, у него быстро менялся взгляд, как у нервных людей:

— А вы разве не болеете?

— Чемпионат мира?

— Угу.

— Муж болеет. Так вам телевизор?

Он кивнул.

— Не-ту, разобрали, — насмешливо протянула она.

Он сделал несчастное лицо:

— Правда?

Она рассмеялась, чуть передразнив:

— Правда... Хотя подождите... Кажется, есть один. — Ей вдруг захотелось помочь. — Только без антенны. Если умеете паять — там нужен штекер другой...

— Штекер... — повторил он. — Ну, это пустяки. Если только штекер... — Ему почему-то понравилось это слово.

Не очень было понятно, когда он шутит — сложно как-то говорил, с умыслом и подтекстом, но лицо, шея, мужеский рельеф оголенных рук — это почему-то волновало. Главное, глаза — притягивающие. Она приподнялась со ступенек и, чуть принужденная от сознания, что он будет смотреть на нее сзади, с самым независимым видом вошла внутрь.

На следующий день он пришел опять

— Не работает? — спросила она, чутьем угадывая, что не за тем он.

Он грустно покачал головой:

— Почему? Работает.... — Вообще он был другой, с тенью усталости в глазах. И такой — более близкий.

— Так в чем же дело?

— Вот и я себя спрашиваю, — сказал он и повалился на стул, будто собирался просидеть долго.

— Что, наши проиграли?

— Наших там нет, — сказал он. — Но мы интернационалисты. Мы болеем за красивый футбол. — И, ссутулившись, скрестив перед собой руки, всем корпусом повернулся к ней:

— Как вас зовут?

— Вера.

— Дети есть?

— Это что, допрос? — деланно засмеялась она.

— Я серьезно, — мотнул он головой.

— Сын.

— Большой?

— Тринадцать лет.

— Что? — чуть не подскочил он. — Не верю!

Она только повела плечом.

— А у меня дочка, — сказал он. — Ей три с половиной.

— Дочка... — почему-то огорчилась она. — Это хорошо. Папа и дочка. Это красиво. Я тоже хотела дочку.

— Ну так в чем проблема? — не очень тонко спросил он.

— Много будете знать — скоро состаритесь, — решила пошутить она.

— А я вот один — сижу и смотрю, — великодушно пропустил он мимо ушей ее банальность. — Знаете, Вера, я не люблю болеть в одиночку.

— Ну так с женой...

— Жена далеко, — сказал он. — И потом... Она не любит футбол.

— Жаль... — искренно сказала она. — Если нужно, я бы полюбила.

— Да? — сказал он.

Помолчали. Казалось, он что-то хочет сказать, но не решается. Она насмешливо ждала, и холодок какой-то возник, на уровне груди, как перед прыжком в воду.

— Знаете, Вера, — сказал он наконец, не глядя на нее, все также — со скрещенными на груди руками, — а что если вы составите мне компанию, а? Только не говорите «нет». — И посмотрел прямо в глаза. И во взгляде — готовность превратить все в шутку.

Она засмеялась. Собственно говоря, смешного было мало. Скорее, было неловко. Она и смеялась, чтобы скрыть это. Он терпеливо подождал. Потом сказал:

— Простите мою глупость, — резко встал и пошел к дверям. На пороге задержался:

— До свидания... — И улыбка официальная, никакая.

— До свидания, — сказала она.

\*\*\*

Кто уходит первым, оставляет за собой последнее слово. Она поняла это, почувствовав, что ждет. Но он не пришел ни на следующий день, ни после. Еще несколько дней она боролась с этим чувством, вздрагивая и нарочно не сразу поднимая голову, когда открывалась дверь: вдруг это все-таки он... но борьба только усугубляла ожидание. Доставала копию квитанции и в сотый раз перечитывала: Кипрушев В.А. — Валентин Андреевич. Дом... улица... квартира № 96. Это число казалось ей магическим, некий шифр, а за ним — неизвестность. Какая-то притягивающая желанием неизвестность — его жизнь. Мерещилось, она звонит — он открывает. Удивлен, конечно. И обрадован. Она ему: «Что же вы не приходите, Валентин Андреевич?» Нет, ну как она зайдет? А вот и зайдет! Допустим, понадобился телевизор. Да, да! Она отдала неисправный. Мастер ругается — не имела права. Там надо что-то поменять... А он на месяц взял. О, дура, что она несет...

Ходила на работу нарядная, с прической. Вот бы он навстречу.

Его не было.

Смеялась над собой, потому что саднило. А потом, вроде, затихло, затянулось.

Объявился сам. Посмотрела на него спокойным, холодноватым, любопытствующим взглядом — и чего накрутила, дуреха — мужик как мужик, ничего особенного. Принес телевизор.

— Здравствуйте, Верочка!

Она сдержанно кивнула. Нет — насмешливо.

— Вот, принес телевизор.

— Отлично...

— Спасибо вам большое, вы меня спасли.

— Немного вам нужно.

— Да, вы правы. Знаете, американцы называют телевизор ящиком для дураков. Я был счастлив, как последний дурак. Голландцы — высший класс.

— А что свой не купите?

— Знаете, такой футбол бывает раз в четыре года. А для остального мне телевизор не нужен...

— Вот и прекрасно... — сказала она, потому что ничего умнее в голову не пришло, убрала свой грессбук с его распиской и завозилась с ящиками стола, зная, что придется снова поднять на него глаза и потому придумывая занятие для рук. А он не спешил уходить. Стоял и смотрел — будто жалеет или грустит:

— Вы похудели...

Она все колдовала ящиками — эта чертова бухгалтерия не хотела возвращаться на место.

— Какие-то неприятности?

Выпрямилась, посмотрела. Ну чего ему надо? Лучше бы уходил скорей. Как-то он на нее действует, словно облучает.

— Может, вам нужна помощь?

Вдруг почувствовала себя маленькой и слабой — на миг стало жалко себя. Только на миг. Потому что потом она тряхнула волосами, уже забывшими о прическе, и сказала:

— Если разбираетесь, помогите охранную систему включить — тут у нас еще одни двери во двор.

Включили, закрыли, пошли рядом.

— Я вас провожу.

— Не стоит, — сказала она.

— Кто знает, может, и стоит.

— Муж увидит. Или соседи.

— Верно, — сказал он. — Тогда не стоит.

— Вот именно, — подтвердила она, не очень-то скрывая, что разочарована его словами. — Идите себе домой. Вы сюда, а я — туда, — и махнула рукой.

— Лучше проводите меня?

— Это что-то новенькое...

— Прошу вас.

— Хорошо, — снова тряхнув головой, неожиданно для себя самой сказала она, словно освобождаясь от привычного и будничного, и пошла рядом, как одна западная кинозвезда, далеко назад откидывая плечи.

Говорили. Он говорил. Что-то про необходимое жизненное пространство личности у разных народов. Запомнилось, что американцы не выносят закрытых дверей, подозревая козни, а англичане годами не замечают соседа за столиком. И еще что-то про крыс, про инфаркты, когда их слишком много в одном месте.

— Вы ученый?

Нет, он рядовой ИТР, но собирается все это забросить. Наступит день, когда он все бросит и начнет сначала. И что же будет в том начале? Поселится в лесу, как его любимый американский писатель-романтик Генри Торо. Тридцать семь — в этом возрасте гении в буквальном или переносном смысле погибают, а не гении должны менять образ жизни. Это черта, за которой неизвестность. Он больше не хочет, чтобы им помыкали. Только сам. Пора самому строить свою действительность. В конце концов существует только то, к чему можешь сам прикоснуться.

Говорил — и голос катался по низам, грудной, влажный, так что мурашки по спине.

Жизнь большинства — это сплошное надувательство. Мы, вместо того, чтобы постигать самих себя, напяливаем чужую шкуру. Наша жизнь — еще Шекспир говорил — это сцена. И люди на ней — актеры. Вот здесь — указывал он на освещенное окно, — трагедия, а там — комедия, там — фарс, драма, водевиль...

— А у вас? — спросила она. Не понравилась ей то, что он говорил. И сам он вдруг стал меньше, мельче...

— У меня? — переспросил он, чутко уловив перемену в ней. И сразу перестроился. — У меня в рампе полопались все лампочки. Так что моя сцена пребывает в темноте.

— Так-таки ничего не разглядеть?

— Так-таки ничего.

— А жена, дочка?

— Уехали.

— То есть?

— Ну, типа совсем...

\*\*\*

Злилась. Какое трепло! Сплошная несерьезность. Вдруг показалось, что его надо спасать. От кого? От самого себя? Что говорил? Когда искренне? Все перепуталось. Но сквозь словоплетение проступал его взгляд, грустный, будто просящий о чем-то. И сердце толкнулось — он несчастен. Это все потому, что он несчастен. И слова потому. Это он так говорит, чтобы не сказать правду. Он правду так скрывает. Какая это правда? Что с ним? Ведь по сути он ничего о себе не сказал. Станный человек. Какой-то одинокий, брошенный... А жена что? Враждебное возникло против жены. Уехать, бросить — это нам раз плюнуть. А ты попробуй понять...

Самой непонятно, как получилось. Но пришла к нему на следующий день. В лучшем своем вязаном платье — вязка крупная, легкомысленная, просвечивающая, как нижнее интимное белье. И не стыдно было нисколько. Пришла и все. «Давайте я вам хоть борщ сварю или суп по-крестьянски». Поначалу он растерялся немного, то есть просто глаза вытаращил. А потом заволновался — она заметила — руки дрожали. А ей хоть бы хны — все время было смешно. Все, что происходило, смешило невероятно. Давно не было так весело. Наконец и он стал что-то соображать.

Сготовила ему из принесенного и первое, и второе, льняную салфетку нашла где-то, накрыла край стола, сверху — тарелка дымящегося борща: «Кушайте, дорогой Валентин Андреевич». И к двери направилась. Смысл чуда в том, чтобы начинаться и заканчиваться совершенно неожиданно. К тому же ей вправду хотелось уйти из этой квартиры, какой-то странной, полупустой, со следами брошенного ремонта... Но он не пустил. Взял за руку, чуть крепче, чем было нужно, удержал, уговорил.

Сели вместе за стол. Теперь уже не чудо было, а чудно как-то. Что-то пропало, схлынуло, обнажились небольшие крутолобенькие валуны и мокрые круглые камешки, вяжущие шаг. Досадовала, что не ушла. А он смотрел странно, молчал, к борщу не притронулся. Ну, а делать-то что теперь? Замерла на стуле, неловко выставив загорелое обнаженное плечо, будто защищалась. Не уходила только из гордости. Да разве он поймет... Могла ли предполагать, что будет дальше...

Первое здоровое чувство после всего — униженности. Он курил, глядя в потолок, она — спиной к нему, свернувшись калачиком, горящим от стыда лицом — к стене. Он нащупал ее плечо свободной рукой, потянул к себе — она не уступила, окаменев.

— Ну что ты, Вера? — приподнялся он. Склонился над ней, стал тихо, почти машинально, целовать ухо, плечо, сгиб руки, бедро.

— Пустите! — жестко, холодно сказала она. Сделала попытку встать, потянув за собой простыню. Встала, нащупывая ногой в полутьме скинутые босоножки. Он, опершись на локоть, следил за ее движениями. Вот оно, знакомое — это когда после... Когда так ясно, что была не любовь. Кого винить — только себя. Сама пришла. Значит,

допускала. Нет, не допускала, вообще не думала об этом. Но зачем-то все-таки пришла. Значит, допускала.... Нет, нет, нет! Хотелось ему помочь. Хотелось сделать ему приятное. Вот и сделала...

Он пошел ее проводить. Куда делось его красноречие. Молчал, как провинившийся школьник. Только курил одну сигарету за другой. Шла, переступая неверными ногами. В домах светились окна, купы деревьев и кустов стояли темной осуждающей толпой. Их свежий вечерний зеленых дух широкой рекой бесшумно вливался в аллеи и пустые улицы. Дух молодости, дух первых ожиданий и предчувствий.

У перекрестка она остановилась, взглянула на него, давая понять, что дальше не стоит. Он обнял ее за плечи:

— Вера, слушай, Вера. Я сейчас тебе что-то скажу. Ты дала мне счастье. Я этого не забуду. Не жалею ни о чем. Мы сделали только первый шаг. Ничего не надо бояться...

Она заставила себя улыбнуться. Молча положила руку ему на плечо. И ушла.

\*\*\*

Они встречались по вечерам, когда ее муж работал в ночную смену, а расставались за полночь. Пускай в тридцать с небольшим, но она все-таки узнала, как ЭТО бывает, и тело ее было полно весеннего гуда — раньше только читала про такое. Ах, какая у нее глупая неуклюжая душа. Душа — это всего лишь совесть. А совесть — это маленький уродец, видящий и во тьме. Так, кажется он говорил... Она никому ничего не должна. Ей ни от кого ничего не нужно. Она не берет чужого. Все, что у нее есть, это только ее, и больше ничье.

Она очень изменилась за эти два месяца — еще больше похудела, на обтянутых точеных скулах зардел румянец, губы посвежели, чувственно изогнулись, а взгляд обведенных тенями глаз вызывал зависть женщин и тревогу мужчин. Нет, счастливой она не стала — это неправда. Она просто была — забытое чувство бытия, когда время не позади, в прошлом, и не впереди, в будущем, а здесь, внутри, в ней самой — оно заполняло тело, обтекая, оставляя незанятым лишь маленький саднящий комочек, именуемый душой.

Как предчувствовала что-то...

Однажды он явился к ней в ателье проката раньше обычного. Молча опустился на стул и закрыл лицо руками.

— Что? — даже не спросила, а выдохнула она.

— Я ничего не понимаю, — сказал он глухо, из-под ладоней. — Я думал — это навсегда. Мы так договорились. Она просила меня набраться мужества и забыть — ее и дочь. Она хотела устроить свою жизнь. У нее кто-то там был. Я дал ей слово. Я больше не ждал.

— Она вернулась?

— Да...

Вот и все. Не помня себя, обошла стол, остановилась перед ним, приподняла его голову — о, эти теплые мягкие волосы, чуть пахнущие табачным дымом, этот любимый, в морщинках, лоб, впадинка между бровей, которая разглаживалась, когда он лежал рядом, — приподняла, заглянула в глаза, улыбнулась:

— Ну вот, видишь, у тебя все хорошо. Я рада.

— Где хорошо? — вскинулся он, вымаливая глазами прощение.

Она поняла, закивала часто:

— Хорошо. Я чувствую. А теперь иди. Иди. Тебя ждут. Прощай.

— Я не могу, — сказал он.

— Иди. Там твоя дочь.

Еще долго пекло, иногда невыносимо. Он суетился, просил о встрече, все настаивал на каком-то важном для него разговоре, но разговора не получалось, что-то договаривались о тайных свиданиях, узаконенных взаимной изменой, взаимным

умолчанием, подруга была разведенная, квартира свободная с девяти утра, даже условились как-то, ждала-не ждала, но волновалась ужасно, будто впервые, потом не выдержала, надела плащ, вышла, закрыла дверь на ключ и спустилась во двор. Почувствовала, что правильно, — легко стало. Он уже шел навстречу — увидел ее, вскинул бровь... Посидели тут же, в садике, покачиваясь на цепной скамейке, и разошлись. Ей показалось, что и сам он не шибко огорчился.

Но до конца не забыл. Заходил иногда, говорил, смотрел откровенным горячим взором, подмывало в такую минуту спросить: «Что, ремонт у жены?» — но смеялась, кокетничала, делала вид, что все хорошо, лучше не бывает.

Только как-то в конце октября. Прибаливала, хотя и ходила в ателье. Опять он. Как когда-то поставили двери на сигнализацию — вышли... Ветер, темень, мокрые листья. Сели на той уходящей из-под них нестойкой цепной скамейке, целовались долго и голодно — он хотел большего, но она не позволила. Чужой, уже чужой. А был ли своим? Всегда чужой. Тело подавай ему, любителю сладкого. Трещали листья вокруг, щелкали по лицу.

К зиме ослабло, отпустило. На работу — с работы, его нет. Уже не ждала. Накинув пальто, очищала снег с крыльца, а снег все шел и шел в обширном свете, падающем из стеклянных витрин. Однажды по пути домой увидела в скверике его с дочерью и женой. Запрягшись, вез двоих на маленьких санях, дочка на коленях у мамы визжала от восторга. Мама — в длиннополном пальто, обшитом понизу мехом, красиво изогнувшись, не замечая, что мех волочится по снегу, одной рукой придерживала дочку, другой дергала за веревку и смеялась. А он тянул, взбрыкивая по-лошадиному. Повалились на бок, «куча мала» — кричала девочка, карабкаясь на копошащихся родителей. И так стало тошно... Что-то оборвалось тогда — последняя связующая паутинка. Потом перешла в другое ателье, а они куда-то исчезли, узнала потом, что поменяли квартиру.

Муж, ее постылый муж, так и остался в неведении.

\*\*\*

С сыном приходилось много заниматься — плохо учился. Рос флегмой — в отца, но был привязан к ней, любил, защищал, уже был случай, когда схватил его, пьяного, и оттолкнул от нее, швырнув на диван. В четырнадцать лет обогнал отца на полголовы. И она впервые почувствовала — защитник. Не пытаюсь встать, муж грязно ругался. Когда заснул, хотела убить. Стояла над ним, спящим, с ножом. Ну какой толк в его тупой бессмысленной жизни? Зачем он живет? Век бы не видеть его тухлого взгляда. Кому он нужен? И вдруг заметила, что сын испуганно выглядывает из-за двери. И поняла в ту же минуту, что нужен он. Даже такой.

Значит, крест, который надо нести. Ради сына. Ради сына было всегда. С тех пор как родился. Блезненный был. Первые три года плакал — три года она спала только урывками. Тогда, наверное, и надломилось что-то внутри, и непокорность осталась только в походке, а глаза, улыбка заговорили о другом — что может, что согласна терпеть. В школе сын тоже был не из первых, а все хотелось, как лучше, как солиднее. Устроила в английскую, для чего пошла работать в школьной столовой. А к пятому классу сын безнадежно запутался во временах и формах английских глаголов, да и она мало чем могла ему помочь, пляясь на страницы учебника. А тут еще новая классная воспитательница невзлюбила его. С беспристрастным лицом, в котором угадывался скрытый садизм власти, вещала на родительском собрании: «Родителям Курочкина надо подумать о будущем сына. У мальчика нет абсолютно никаких способностей к языку. Ему трудно, он отстает, страдает от этого. Отсюда агрессия, комплексы. Зачем ребенку комплексы? Пусть учится в обычной школе». Не передать интонации, с которой она выговаривала это уничижительное «обычной».

Сын и в самом деле страдал, замкнулся. Она пыхтела, старалась всем ИМ доказать, но, вызванный к доске, он бледнел, запинаясь и десять раз затверженный с мамой урок

вылетал из головы. Дети — безжалостный к слабым народ — стали над ним издеваться. Однажды после занятий учительница обронила между прочим: «Я не удивлюсь, если мальчишки побьют вашего Сережу».

Кровь бросилась ей в лицо, ослепила на миг. Сжав кулаки, она прошипела, задыхаясь:

— Если они хоть пальцем его тронут, я тебе глотку перегрызу!

Та побледнела, схватилась за грудь, попятилась. Но все-таки пришлось из той школы сына забрать.

Однажды под вечер он пропал. Ждала его нетерпеливо, а потом, с темнотой, сразу неистово заныло в груди. И мысль, дикая, нелепая — его убили. На пустыре. Огромный был пустырь, потом на том месте дом-корабль построили, а тогда была только свалка мусора, груды битого кирпича и обломанных бетонных плит. Дождь лил — конец марта — темень, хоть глаз выколи, и вот она в резиновых сапогах, с электрическим фонариком, спотыкаясь, слезы ручьем из глаз, лазала по этим грудам, звала, звала, звала... Казалось, что где-то рядом, откликнуться только не может, потому что... потому что... Что было с ней в тот вечер! Чего только не наговорила, обращаясь к кому-то, кто выше, кто все может... Жизнь свою предлагала, отказывалась от всего, все обещала — лишь бы только живой, только живой, пусть раненый, но живой. Решила уже звонить мужу на работу.

А дома сын как ни в чем не бывало — оказалось, у кого-то на дне рождения застрял. Увидела — ноги подкосились. Села в дверях на пол и не осталось любви:

— Что же ты наделал, скотина...

Тогда она и решила, что нет справедливости, и за благодеяния не будет награды, и чем больше собой жертвуешь, тем больше долги. Жизнь шла не так. Но разве жизнь, это путь от себя, от заветного в себе? Разве это отказ, а не обретение? А она столько лет отказывалась от себя, от своего. Господи, что осталось от той девчушки, прыгающей по дивану? И чего она ждала, на что надеялась? Она хотела просто жить, просто хорошо интересно жить. Ну, нет у нее талантов, но есть молодость, здоровье. Говорят, красота. Она могла бы быть счастливой женой и матерью — вот ее главный талант. Но не получилось. И что теперь?

Стала гораздо больше следить за собой — одеваться. Мода такая пошла — только об одежде и разговоры. Правда, дороговато, все красивое, импортное — в дефиците. Хорошо, что были знакомые в сфере торговли. Да и сама шила, перекраивала. Прически делала. Французская косметика в польском варианте... Словно помолодела на десять лет. Хотя и так ей было всего тридцать пять. Директор завода, тот самый, так просто слег, когда сказала ему, что мужья достойны своих жен. Инфаркт на почве неразделенной любви. Не ожидала, что у него такое хлипкое сердце. Но и жалеть не собиралась. Теперь уже не могла быть другой — только красивой, ухоженной, назло им всем! Так и ходила, как кукла, потому что внутри — пустота. Никого не подпускала. Не могла подпустить.

А муж — смех да и только — проснулся вдруг и ударился в ревность. Чувства в нем заговорили. Вспомнил про свое имущество. Однажды стала одеваться — дорогой французский лифчик распался в руках, ножницами искромсан. Раз в ее отсутствие изрезал все ее фирменные тряпочки.

Но еще долго не подавала на развод. Только когда сына призвали в армию, развелась и сняла комнату в центре, в малонаселенной коммуналке. К тому времени и появился Борис. Этот был холост, в отличие от Валентина, моложе ее, что огорчало, хотя знакомые и уверяли, что они вместе «смотрятся». Но все, вроде, закрутилось всерьез, основательно, переехала к нему, в отдельную квартиру, и пусть стали поругиваться — плохо, что он с матерью жил — все-таки не сравнить с первой семьей. Борис был в общем неплохим человеком. Правда, немного зануда — служил в каком-то патентном бюро — педантичен, план всегда составлял на выходные, а потом подводил итог: «Хорошо мы время провели», — словно без этих слов отдых было бы неполным. Но если бы только это. Регистрироваться он не спешил. И хоть ей все равно было — ну, есть печать, нет



печати — все-таки обижало: почему не женится? Будто на ней порча какая...

А он, видите ли, свободу ценил. Все через это сито пропускал — даже любовь. Любовь — рассуждал — это дикая зверюшка, ей нужна воля, а в четырех стенах зачахнет. Вот и моталась во имя этой самой воли то к себе, то к нему. А мать — сырая чванливая старуха — та намертво стояла за сыночка, за его «интеллектуальные горизонты». Считала, что Вера была слишком простой, неровней сыну. Терпела «невестку» только за внешность, даром что наградила сына своим плоским безбровым лицом и таким же большим рыхлым телом.

Это она-то неровня!?

Год прокрутилась как щепка у этой семейной воронки, но так и не засосало — отплыла, пристала опять к своей съемной коммунальной комнатухе, к одиноким вечерам, освещаемым настольной хозяйской лампочкой. Сколько передумала в эти вечера — уже тридцать семь, а ни кола, ни двора. Чем она хуже других? Бывшие приятельницы жили в основательном замужестве, выгородив его полированными импортными сервантами с хрусталем, обвесив коврами и прочей дребеденью. И пусть их мужи тайком поглядывали на нее, от этого становилось лишь гадко.

Да разве они живут? Разве имущество доказательство жизни? Неужели они забыли, что есть смерть — ведь на тот свет ничего не утащишь. Ей-то будет много легче. Вот, вот — о смерти стала думать, будто старуха. И все-таки зачем люди живут, зачем она живет? Выходит, что ни за чем. Как муравьи, бегут куда-то, несут что-то. Кто крепче держит — у того накоплений больше. А ей стыдно держать.

Музыку стала слушать. Грампластинок накупила. Почему-то старинная ей нравилась больше. Лютня, шестнадцатый век. Казалось, что тот, кто сочинил эту музыку, вот так же совсем один сидел вечерами пред свечой в какой-нибудь клетушке замка. И никого вокруг. Часы, дни, недели — никого. Только в одиночестве без надежды можно было сочинять так нежно и печально. Не выдерживала, вскакивала и шла на улицу. Все-таки люди. Каждый спешит домой. Тоже прибавляла шаг — будто торопилась, будто и ее ждут.

Соседи ее, наверное, жалели. Хотя жалости от других она не терпела. Смеялась чуть что, открывая свои влажные прекрасные зубы. Только однажды не выдержала — это когда тот клиент подошел, прямо в ателье, в которое устроилась, чтобы быть поближе к жилью. Вошел, пожилой уже, с крутыми плечами и маленькой лысой головкой. Лицо благообразное, если бы не взгляд — долго не могла от него отмыться. «Я давно за вами слежу», — сказал. И хоть бы смутился на миг. Говорил, лепил бесцветными губами: «Вы мне очень нравитесь. Я вам хорошо заплачу. Сколько скажете. Только разрешите мне.... Разрешите мне поцеловать вас...». Она сначала не поняла, что он имеет в виду, засмеялась, как дурочка, но тут он посмотрел ей в подол, показав, где он собирается запечатлеть свой поцелуй. Не помнит, что дальше было — закричала, запустила в него чем-то, он убежал, а сама рыдала, закрывшись, хотя по расписанию пункт проката должен был быть еще открыт.

\*\*\*

Борис допрыгался со своей доктриной «свободной любви» — одна из его послушниц-сотрудниц забеременела и твердо решила рожать. Пометавшись, под страхом лишиться служебного кресла он дал отвести себя в ЗАГС. Родился ребенок, а еще через полгода он понял, что погибает и стал звонить ей и плакаться.

— Я больше так не могу! — трагически шептал он.

— А я могу! — отвечала она ему. И не жалко его было. Ничуть.

Сын вернулся из армии, а бывший муж удивил — нашел кого-то и исчез на другом конце города в направлении Муринского проспекта, мимо которого она через субботу проезжает по пути в Сосново, где сняла шесть квадратных метров летнего отдыха.

Мужнина комната перешла к ней — живут с сыном, тот работает в автопарке и

готовится на вечернее отделение в Институт холодильной промышленности. Девочки его не интересуют, и это беспокоит ее. Она вернулась в то свое, прежнее, ателье, где и начинала. Вокруг что-то всё строят, и клиентов прибавилось.

По пути в Сосново много свободного времени — и она, задумавшись, глядит в окно. Думает она что-то трудно передаваемое словами, однако, если судить по состоянию покоя, разлитому в ней, это приятные мысли. Мелькают деревья, станции и полустанки, люди и крыши дач, летят птицы, отставая от электрички, ударит и тоже останется позади короткий летний дождь, то солнце, то ослепительные облака, и ей кажется — еще немного, и она постигнет закон, который правит всем этим сверкающим миром. Разве он был бы так прекрасен, если бы существовал лишь для самого себя.

Еще она любит незаметно наблюдать за людьми в вагоне. Она заметила, что ей все меньше попадается уродливых лиц. Или она сама стала другой и вот, забыв о своих, разглядела чужие тайные заботы и печали. Может быть, многое из того, что мы принимаем за уродство, это всего лишь приговор нам самим, знак нашей слепоты. И если есть закон, то должен быть и смысл, иначе бы зачем так долго и глупо страдать.

*Июль, 1979*